

ВЗГЛЯД

«Минувший год был для меня пестрым, словно первая летняя бабочка. Был он долгий, насыщенный, потрепал и нервы, и чемаданы. Зато и горизонты мои раздвинул заметно — аж до Тихого океана! Но из всех моих связанных с делами театра поездок, даже с учетом того, что многие из них спроецированы в будущее, — Москва, Вильнюс, Свердловск, Владивосток, Мюнхен, Минск и другие — сильнее всего запал в душу Минск. И не потому, что пришлось в нем побывать трижды. Нет, Минск поразил людьми. Ведь воистину люди крадут место, а не наоборот. По крайней мере, для меня. Это только рядом с Ниагарским водопадом человек мало что значит, да и то для ошеломленного туриста...

Все началось в мае минувшего года во время дружеского вторжения в нашу республику белорусского искусства», — так написал недавно народный артист Эстонской ССР, популярнейший драматический актер и режиссер МИКК МИКИВЕР на страницах еженедельника «Сирп я Вазар», начиная свой рассказ о белорусских друзьях. Его заметки с небольшими сокращениями мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

**Мой друг Иван Миско**

Этот огромный, неуклюжий, с тяжелыми большими руками и хитровато-простоватым лицом белорус так напугал меня еще в Таллине по весне своими неумеренными проявлениями симпатии, что во время гастролей в Минске и примыкавших к ним Дней литературы и искусства Эстонской ССР в Белоруссии я, как мог, хоронился от него. На все телефонные звонки отговаривался чрезвычайной занятостью. Правда, во время торжественного открытия Дней я попал-таки в его медвежьи объятия, под водопад признаний в любви, уважении и т. п. Эта громогласная, распахнутая настежь открытость снова повергла меня в замешательство, и я, конечно же, снова не пошел к нему в мастерскую, хотя искусствовед Сирье Хелме и предупредила меня, что лучше бы пойти, а то из моего портрета, из бюста, сработанного по памяти и несколькими фотографиями, может получиться... Точнее, ничего хорошего не получится. Все равно не пойду, думал я про себя. Не пойду и все. Ты мне не нравишься, Иван Миско, уж очень ты нараспаху, уж очень ты неуёмен в изъяснении чувств...

Я сбежал в Таллин. Через неделю — снова в Минск! У моего славного друга актера Николая Еременко — юбилей. Я поехал бы даже под страхом неперенной встречи со скульптором Миско. И, конечно, я с ним встретился. Мы вдвоем волокли на сцену свежий скульптурный портрет Еременко — подарок юбиляру. Иван произносил на весь зал разящие точные признания в любви, я молча отдувался и думал, что теперь уже спасения нет.

Его и не было. В конце вечера Коля Еременко в своей обычной манере, тихо и ненавязчиво, сказал: «Ты сходи завтра в мастерскую, Ваня очень хороший мужик. Ты сходи». И я пошел.

Мастерскую ровно озарял свет непонятного происхождения. В мастерской было много всякого и разного. В маленькой кладовке шумел чайник. Очень тихо звучало радио. Иван, без галстука и медалей, в поношенной джинсовой блузе, в сапогах, тихонько возился с глиняным Микком. «Встань тут, рядышком, пожалуйста. Сейчас

чай пить будем», — голос был тих и не потревожил бы даже паутины. Иван продолжал работать. Теперь уже сверяясь с Микком-оригиналом.

Чай мы сели пить через три часа. Видно, за это время Иван поймал и закрепил в глине то, что теперь уже не боялся потерять.

Никогда не приходилось мне чаевничать в таком обществе. Все советские космонавты плюс космонавты соцстран и их коллеги-французы, Якуб Колас (незавершенный), Балерина и Гимнастка, множество матерей со взрослыми детьми, преимущественно с сыновьями, преимущественно с погибшими сыновьями, матери и жены павших на поле брани, старики — в группах и поодиночке, стоя и сидя, руки на коленях, мозолистые, в узлах вен, прекрасные руки, понявшие, что земле, пожалуй, безразлично, как относятся к ней человек, любит или нет, а вот для самого человека это вопрос вопросов. Руки, ноги, лица... И одна-единственная птица: композиция о космосе, как же без птицы-то! Фрагменты, эскизы, детали, порой более выразительные, чем уже завершенная работа. И над всем этим тот непонятный свет, что поразил меня при входе. Теперь я понял. Он исходил от самого Ивана, который сидел напротив, обхватив ручищами большую чашку, прихлебывая чай и голосом, глубину и тембр которого я не берусь описать, повествовал свою очередную историю. О сочинском пляже, где люди, словно шпроты в масле, а на самой кромке прибора вдруг человек лицом к солнцу, натянут, как тетива, руки раскинуты — вот-вот взлетит туда, к светилу... У Ивана даже мороз по коже. Подошел потом к тому человеку. Слепой он. О материале и архитектонике каждого человека. О том, как отщипнуть планету после полета космонавты, им землетрясение в Мехико кажется бедой в собственном доме, нет больше расстояний, чужих бед нет, сами себе взрослыми детьми кажутся...

Нет, я не помню Иванова голоса, я помню лишь суть, связь, ассоциации, саму атмосферу и свою собственную мысль: господи, да почему же лишь малая толика того, что ты видишь, чувствуешь, знаешь, отражается в глине и камне, насколько же ты сам еще богаче, интереснее, чем твое творчество. Впрочем, иначе и этого бы не было, и не мне об этом сожалеть... Я могу лишь радоваться, что все-таки узнал тебя.

Ты мне нравишься, Ваня, я верю в твою распаханность и прямоту, в твой раскатистый смех, потому что слышал, как ты говоришь сердцем, потому что ты такой, какой есть, — сын Белоруссии.

И я от души присоединяюсь к словам моего друга Коли: Ваня очень хороший мужик. Наверное, так оно и есть, потому что лауреат Государственной премии СССР скульптор Иван Миско часто бывает в селе, где вырос Ваня. И тогда там горит тот же ровный неугасимый свет.

**Алешины яблоки**

— Знаешь, что он мне сегодня ночью заявил? — спросил меня Алексей Дударев на шоссе, ведущем к Хатыни. (Прекрасна Белоруссия в начале октября с ее пламенеющими лесами и притихшими, будто готовящимися к зимнему сну деревьями!). — «Теперь из эпохи приукрашенной правды мы перешли к периоду правдоподобной лжи». Так и сказал. Ровно в половине третьего. Я так испугался, что даже на часы посмотрел.

— Кто сказал?

— Ну, тот, второй председатель. Ты понимаешь, он же видит, как мало людей готовы внутренне к истинным переменам, и понимает, большая часть руководителей среднего звена до правды не подымется, не может подняться! И будут выпутываться из ситуации правдоподобием, выдавая его за правду...

Теперь я сообразил, что речь идет о



двух председателях колхозов из повести, которую сейчас пишет Дударев. Алеша — крестьянский сын, и потому в творчестве своем вновь и вновь обращается к деревне. Да и не только в творчестве. В деревне живут его приемная мать, очень схожая с Ганной из пьесы «Вечер», сестра, Алеше и его семье (жене и сыну) снова принадлежит отцовский дом, что стоит на пути от Минска к Витебску. В доме, убежден Алеша, по-прежнему обитает домовая, а в колхозе — водяной-колодезник.

Мы знакомы с Дударевым с 1983 года. На одном из региональных совещаний в Минске мы запомнили друг друга по выступлениям. А потом Николай Еременко — ну, кто же еще! — нас на бегу познакомил. Зимой 85-го Алексей был в Таллине, смотрел «Цвета облаков» Яана Круусвалла, в котором признал родную душу, как и в героях его пьесы. А потом расписывал мне в самых теплых тонах, как я должен был бы поставить его «Вечер». Я же все выпытывал его этические позиции по некоторым не совсем ясным мне моментам в пьесе «Рядовые», над которой тогда уже работал. Алексей советовал «Рядовых» отставить и делать «Вечер».

Снова мы встретились осенью 1986 года во время гастролей нашего театра в Минске. Он неожиданно оказался на сцене среди тех, кто приветствовал нас, — пунцовый от смущения, с охапкой гвоздик, не похожий на свежеепеченного лауреата Государственной премии и премии Ленинского комсомола. Мы приняли его в свои ряды и честно поделили ордены — эстонские актеры и белорусский драматург 35 лет от ро-

ду, с актерским дипломом в кармане.

В тот вечер «дударевская мать» — актриса драмтеатра имени Янки Купалы — сказала: «Вот ты и получил, что хотел». Алеша и не скрывал, что доволен нашим спектаклем. Позже они с женой полночи проговорили на кухне о том, как это замечательно и удивительно, что разные народы с таким разным опытом войны могут быть так созвучны друг другу.

Целый день мы бродили с Алешей по Минску, говорили мало, да и то больше он. О родном крае, о родном языке, о деревне и внутреннем душевном непокое,

об образовании души, которого не получишь за школьной партой. Я сказал ему, что хоть и выглядишь он горожанином (если глаза и руки исключить), но в душе он как был деревенским парнишкой, так и остался, и титулы его не изменили. Он глянул на меня серо-стальными глазами и продолжал о своем — жутко ребяческом и серьезном, о том, что пока еще можно как-то помириться с богами земли, воды, леса, и таким, как он, меняться и нельзя, а то между вами (нами то есть) и ими посредников не останется. Выпалил это на полном серьезе и замолк, будто бы даже испуганно...

— Хочешь яблок? — спросил он вдруг на шоссе, ведущем к Хатыни, и затормозил. Выскочил под дождь на радость бабусям у обочины. Ведро — в багажник, еще полведра — на заднее сиденье. Ели яблоки, вспоминали Колин юбилей, завтра я улетаю, а нынешним вечером еще надо посмотреть «Вечер» в Витебском драмтеатре имени Я. Коласа.

— Хочешь еще раз в Хатынь? Кивнул убедительно. Алеша чуть заметно облегченно вздохнул.

— Понимаешь, я в такую слякоть, в дождь там не был. А там ведь все меняется от погоды. Зимой — своя тема. Печи в снегу! — в нем чувствовался внутренний трепет.

Потом была Хатынь. Я слушал Дударева, смотрел на него. Он не придавал лицу «соответствующего» трагическому месту выражения, был самим собой, в чем-то мальчишка, в чем-то глубоко серьезен. Это Хатынь была сегодня на иное, не знакомое ему лицо. И он, Алеша, вглядывался в новый ее лик, прислушивался к ней. И, видно, постиг нечто важное. Потому что Хатынь узнает своих и открывается им.

— Знаешь, Чернобыль на несколько месяцев вышиб у меня перо из рук, — сказал Алексей, когда мы уже снова мчались вдоль придорожных осенних лесов.

А про яблоки мы забыли. После спектакля в Витебске уже за полночь добрались до гостиницы и простились — кто знает, на какой срок. И только за контрольным барьером аэровокзала, ожидая выхода на летное поле, я вдруг вспомнил вкус холодного яблока. Да еще как вспомнил —

как в детстве, до сплюнок...

— Микк! — закричал кто-то из-за спины дежурного. Запыхавший Дударев протягивал мне кошелек с яблоками.

— Ох, Алеша!..

**Коля**

Николай Николаевич Еременко-старший сидит на краешке стола и с непритворным вдохновением повествует Николаю Николаевичу Еременко-младшему о том, как прекрасен Сааремаа, где он побывал уже дважды. Глаза горят, губы сочно выговаривают слова, лепящие образы, руки тоже помогают рассказу. Он готов наизнанку вывернуться, лишь бы собеседник почувствовал, какая это земля и какой это чудесный народ — островитяне! Он просто влюблен в них, он за них готов в огонь и в воду...

Таким я его и знаю. (Ну, разве иногда надо делать скидку на артистизм). Всегда полон негромкого воодушевления, всегда чем-то или кем-то увлечен, всегда готов на скрытое самопожертвование ради кого-то, всегда готов защитить...

Еременко-младший вышел на орбиту популярности после фильма «Красное и черное» того же Герасимова, что прославил Еременко-старшего, сняв в фильме «Люди и звери». Сегодня сына знают по целому ряду картин, но нужно слышать, как говорит о нем отец, с какой любовью и заботой, словно его все еще надо защищать, доказывать кому-то его возможности: «Ну, что я... Вот Николай Николаевич — это артист божьей милостью!»

Галина Александровна Орлова несет на стол печеную картошку (видно, успели шепнуть, что это любимое мое блюдо), с улыбкой женского воспоминания смотрит на мужа и сына — любящая жена и любящая мать, актриса театра имени Я. Купалы, заслуженная артистка республики, очаровательное, таинственное создание. «Ну что я! — говорит Коля-старший. — Вот Орлова — это актриса!»

После представления «Рядовых» Николай разыскал меня за кулисами. Выглядел он уставшим не меньше, чем мы.

— Послушай, Микк! Сейчас ко мне подошел Дударев и говорит, ты, мол, только посмотри, как они устали! Я ему объясняю, они же с дороги, немучились... А он мне: «Да я не о том. Ты посмотри, как они устали от войны!» Все, Микк, вы победили!

Коля и по внешности, и по характеру настоящий мужчина, но уголки его глаз предательски поблескивают, когда он произносит: «Я очень рад за тебя». Эти слова — пароль души Николая Еременко.

Мы познакомились в Мюнхене в 79-м году. Помню, вместе смотрели какой-то сильно действовавший на него фильм, потом допоздна пили чай в гостиничном номере. И он рассказал мне, как четыре раза убежал из фашистского плена, как последний раз схватили его именно здесь, в Мюнхене, когда он уже целый месяц пробыл на свободе. Потом был лагерь в американской зоне и чрезмерно настойчивые уговоры, подкуп и прямые угрозы. А еще позже — недоверие дома и многочисленные, душу рвущие допросы. Я спросил, как он все это выдержал, а Коля ответил: «Понимаешь, я тогда уже очень любил Галю, и, по моим соображениям, она ждала ребенка, и я просто обязан был выдержать все».

Пусть будет так, Коля. И ты мне очень нравишься, Коля. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь защитить тебя, если вдруг понадобится. Но мне очень хотелось бы.